

МАЙКЛ БИЛЛИГ

## Нации и языки\*

Небольшая заметка, напечатанная глубоко внутри номера британской ежедневной газеты *Guardian*. Она даже не была основным материалом на странице. Заголовок: «Фламандский лидер призывает к расколу». В заметке, написанной брюссельским корреспондентом издания, сообщалось, что лидеры крупных фламандских партий выступили с заявлением, которое «ошеломило франкоязычные политические партии». Они заявили, что Бельгия должна превратиться в свободную конфедерацию двух независимых государств — голландскоязычной Фландрии и франкоязычной Валлонии. Особые меры должны быть приняты в отношении «немногочисленной немецкоязычной общины на востоке Бельгии». До этого времени, сообщалось в заметке, с требованиями отделения Фландрии выступали только «небольшие националистические и крайне правые группировки». Бельгийское правительство надеялось, что существующие механизмы деволюции позволят «более или менее сохранить целостность Бельгии» (*Guardian*, 14 July 1994).

Помимо того, что было в ней сказано, заметка позволяет понять и то, что осталось невысказанным. Возможный распад Бельгии как национального государства был не настолько важным событием, чтобы писать о нем на передовице «серьезной» британской газеты. Это само по себе свидетельствует о духе эпохи. И хотя о возможном распаде говорилось как о чем-то неожиданном и ошеломительном, не было дано никакого объяснения подоплеку того, почему фламандскоязычное население могло хотеть создания собственного государства. Предполагалось, что читателям понятны такие национальные устремления. Через какое-то время в газете могли бы выйти статьи о франкоязычных сепаратистах в Канаде, баскских сепаратистах в Испании или даже валлийских в Великобритании. Языковые группы, стремящиеся к созданию собственного государства, не представляют загадки для читателей сегодняшних газет.

В этом материале содержатся два основных послания: явное сообщает британским читателям нечто о «них», бельгийцах, которые вскоре могут пе-

\* Michael Billig, *Banal Nationalism*. London: Sage Publications, 1995. P. 13–36.

рестать быть «бельгийцами». Но в нем присутствует также неявное сообщение о «нас», британских читателей, и том, что «мы» предположительно знаем. Нам не нужно говорить, почему общины, говорящие на особом языке, могут желать создания собственного национального государства. Нам не нужно говорить о том, что представляет собой государство и что представляет собой язык. Все дело в обыденных представлениях о нациях, которыми «мы», как принято считать, обладаем.

Подобные представления встречаются и в работах ученых, и в ежедневных газетах. Социологи зачастую считают, что носители одного языка должны стремиться обрести свою собственную политическую идентичность и что в этом нет ничего необычного. Автор книги «Многообразие национализма» писал, что «в стремлении к безопасности происходит неизбежное сплочение народа, говорящего на одном языке» (Snyder, 1976. P. 21). Прилагательное «неизбежное» означает, что речь идет о неотъемлемой составляющей человеческой природы. Таким образом, если фламандскоязычное население не чувствует себя в безопасности, нет ничего удивительного в том, что оно стремится к сплочению и созданию государства, все граждане которого говорят на одном языке. По замечанию Джона Эдвардса, «язык по-прежнему считается основным столпом этнической идентичности» (Edwards, 1991. P. 269; см. также: Edwards, 1985; Fishman, 1972; Gudykunst and Ting-Toomey, 1990). Иногда говорят, что нации, включающие в себя различные языковые группы, возникают в результате непрочных соглашений, которые могут попросту рассыпаться вследствие ряда кризисов и в случае возникновения опасности (Coppo, 1978; 1993). В таком образе мысли нет ничего нового. В XVIII веке Гердер и Фихте заявили, что основу и подлинный дух нации составляет ее язык. Согласно этой точке зрения, Бельгия, состоящая из фламандскоязычного и франкоязычного населения, не говоря уже о немногочисленной немецкоязычной общине, не может быть «настоящей» нацией. Поэтому фламандские сепаратисты стремятся перерисовать политическую карту так, чтобы она наилучшим образом соответствовала естественным склонностям человека: в таком случае, неудивительно, что их требования кажутся столь понятными.

И на этом нужно остановиться подробнее. Национализм одновременно очевиден и неясен. Кажется очевидным, что фламандцы и валлоны могли хотеть создания отдельных национальных государств. В конце концов, если они с трудом общаются друг с другом, то как они могут иметь общую идентичность, чувство общего наследия или ощущение общности? Реакция фламандскоязычного населения понятна, как понятна и озабоченность франкоязычного премьер-министра, который может неожиданно обнаружить, что его страна сократилась вдвое. Следующий вопрос: откуда берется такое ощущение очевидности? «Естественно» ли думать об общине, нации и языке таким образом? Или подобное ощущение естественности само по себе представляет проблему?

Эрик Хобсбаум в начале «Наций и национализма» пишет, что историки национализма должны дистанцироваться от националистических мифов, ибо «ни один серьезный историк наций и национальных движений не может быть убежденным политическим националистом» (Хобсбаум, 1998. С. 23). Хобсбаум

имел в виду гердеровские мифы относительно немецкой нации и языка. Распространением подобных мифов занимаются сегодня и фламандские националисты, говорящие о самобытной истории фламандского народа (Husbands, 1992). И такие мифы, согласно Хобсбауму, не следует принимать в расчет. Но еще больше должен дистанцироваться от них социолог, стремящийся изучить национализм как идеологию. Конечно, социолог обязан вынести за скобки требования тех, кто подобно фламандскоязычным политикам стремится создать новые национальные административно-территориальные единицы, утверждая, что они соответствуют естественным или вековым явлениям. Кроме того, должны быть вынесены за скобки и «наши» обыденные представления о нациях. А это еще труднее, чем дистанцироваться от «них», фламандцев или валлонов, и их особого конфликта. За метафорические скобки должно быть вынесено нечто более универсальное.

Чтобы осуществить такое вынесение за скобки, нам необходимо дистанцироваться от себя самих и от того, что мы обычно считаем очевидным или «естественным». При рассмотрении национализма как идеологии, оказывающей глубокое влияние на современное сознание — и «наше», и «их», — все очевидное должно быть поставлено под сомнение. Идеологии — это образцы верований и действий, которые заставляют казаться существующее социальное устройство «естественным» или неизбежным (Eagleton, 1991). Таким образом, патриархальная идеология заставляет казаться «естественным» (или отвечающим неоспоримому биологическому порядку вещей) то, что мужчины руководят, а женщины подчиняются; расистская идеология заставляла казаться «естественным» и «обыденным» для европейцев XVIII-XIX веков превосходство белого человека над по-детски наивными «туземцами» в искусстве управления. И разве у нас, живущих в национальных государствах и платящих налоги на поддержание наших вооруженных сил, нет «обыденных» представлений, которые заставляют казаться естественным этот мир национальных государств?

Чтобы понять эту часть нас самих, нам необходимо попытаться отойти от наших обыденных представлений. Нас не может удовлетворить «естественность» того, что люди, говорящие на одном языке, должны стремиться к созданию национальных объединений. И дело не в опытном испытании веры с целью выяснения ее обоснованности. Аналитик идеологии должен задаться вопросом, откуда эта вера — наша вера — берется и каково ее содержание. Нам необходимо поставить под сомнение — или вынести за идеологические скобки — сами понятия, которые кажутся незыблемыми и которые позволяют нам понимать содержание ежедневных новостей, в том числе такие понятия, как «нация» и даже «язык». При анализе национализма эти понятия нельзя использовать некритически, потому что они не занимают внешнего положения по отношению к теме, которая должна быть проанализирована. Однако эти понятия не утрачивают своей значимости в истории национализма.

### **Изучение национализма как идеологии**

Вообще, западные либеральные ученые сегодня чаще склонны распознавать национализм у «других», чем у себя. Националисты могут отождествляться с экстремистами, движимыми излишним эмоциональным возбужде-

нием и преследующими иррациональные цели; или представляться в виде героев, которые действуют за границей и ведут борьбу против колониальных угнетателей. Национализм можно наблюдать почти повсюду, но только не «у себя». Если национализм является распространенной идеологией, то ее устройство нуждается в особом рассмотрении с точки зрения образцов верований и действий, которые воспроизводят мир — «наш» мир — как мир национальных государств, гражданами которых мы являемся. В результате национализм оказывается не просто идеологией, которая заставляет фламандскоязычное население противиться существованию бельгийского государства, он оказывается также идеологией, которая делает возможным существование самих государств, в том числе бельгийского.

В отсутствие открытого политического вызова наподобие того, что был брошен фламандскоязычным населением, эта идеология может казаться банальной, обыденной, почти невидимой. Можно с уверенностью говорить о том, что термин «национализм» всегда относится к убеждениям «других». Когда же речь заходит о «наших» убеждениях, можно подобрать другие слова, например, «патриотизм», «лояльность» или «социальная идентификация». Такие термины позволяют избежать использования слова «нация», а вместе с ним и призрака национализма, по крайней мере в том, что касается «наших» привязанностей и идентичности. Проблема в том, что такие термины упускают объект, по отношению к которому выказывается «лояльность» или осуществляется «идентификация»: национальное государство.

В используемом здесь подходе «национализм» не ограничивается идеологией «других», поскольку, как будет показано ниже, такое ограничение сопряжено с определенными идеологическими последствиями. Напротив, национализм в широком смысле слова понимается как понятие, охватывающее способы воспроизводства национальных государств. Зачастую это связано с «банальным» национализмом, который отличается от открытого, артикулированного и выраженного национализма тех, кто ведет борьбу за создание новых наций. Есть и еще одна причина использования термина «национализм» для описания того, что хорошо знакомо и существует «здесь, у себя».

«Наши» обыденные представления о нации и «наша» психология национальных привязанностей должны рассматриваться в тесной связи с историей национализма. После помещения «наших» обыденных представлений в исторический контекст «наши» представления о нации и естественности принадлежности к ней оказываются продуктом особой исторической эпохи. Таким образом, очевидность таких представлений ставится под сомнение. В действительности они могут оказаться не менее странными, чем представления других эпох. Обычно специалисты в области социальных наук, особенно социологи и социальные психологи, не рассматривают тему национализма в таком ключе. Они склонны пренебрегать тем, что получило здесь название «банального национализма». Вследствие использования термина «национализм» в узком смысле слова такие теоретики зачастую проецируют национализм на других и натурализуют «собственный» национализм. Так происходит при двух типах теоретизирования, часто сочетающихся друг с другом.

### *1. Проецирующие теории национализма*

При этих подходах национализм обычно определяется очень узко, как крайнее/избыточное явление. Он приравнивается к мировоззрению националистических движений, а если такие движения отсутствуют, национализм, как уже отмечалось, проблемой не считается. Как правило, сами авторы таких теорий не являются сторонниками националистических движений, хотя бывают и исключения. Такие теоретики зачастую утверждают, что национализм вызван иррациональными эмоциями. Поскольку они притязают на рациональную оценку чего-то, что они считают в своей основе иррациональным, они дистанцируются от национализма. Теоретики и сами живут в мире наций: они имеют паспорта и платят налоги национальным государствам. В их теориях мир наций считается «естественной» средой, в которой драма национализма выходит наружу. Поскольку теоретики пренебрегают национализмом, который мир наций периодически воспроизводит в повседневной жизни, и национализм считается состоянием, свойственным «другим», такие теории можно признать риторическими проекциями. Национализм как состояние проецируется на «других»; «наш» же не замечается, забывается и даже теоретически отрицается.

### *2. Натурализирующие теории национализма*

Некоторые теоретики склонны описывать современную лояльность к национальным государствам как проявление некоего психологического свойства человека. Поэтому такая лояльность может теоретически преобразовываться в «потребность в идентичности», «привязанность к обществу» или «примордиальные» узы, которые теоретически связываются со всеобщими психологическими состояниями, свойственными не только эпохе национальных государств. По сути, «банальный национализм» перестает быть не только национализмом, но и проблемой для исследования. В действительности отсутствие таких идентичностей (отсутствие патриотизма в сложившихся нациях) может считаться серьезной проблемой. Таким образом, подобные теории заставляют казаться естественными существующие состояния сознания, а мир наций превращается в нечто само собой разумеющееся.

У некоторых социологов проецирование и натурализация национализма совершались одновременно: «наш патриотизм» кажется «естественным» и, следовательно, невидимым, а «национализм» считается свойственным «другим». Заслуга таких теорий состоит в том, что они привлекают внимание к особым психологическим состояниям открыто националистических движений. Однако при этом они склонны упускать националистические аспекты «наших» обыденных представлений. Используемый в этой работе подход, напротив, позволяет сосредоточить внимание на «нас».

Необходимыми условиями воспроизводства мира наций служат воображение нации, память о ней, вера в нее и прочее. Для воспроизводства национального государства необходимо бесконечное множество психологических действий. И эти психологические действия не должны анализироваться с точки зрения мотивов отдельных участников. Идеологический анализ

психологических состояний подчеркивает, что действия и, в сущности, мотивы индивидов создаются в ходе социально-исторических процессов, а не наоборот. Поэтому необходимо решительно отказаться от общепринятых теорий социальной психологии, которые предполагают, что психологические переменные универсальны, а не создаются в ходе истории (критику индивидуализма в наиболее ортодоксальных подходах к социальной психологии см., напр.: Gergen, 1982; 1985; 1989; Moscovici, 1983; Sampson, 1993; Shotter 1993a; 1993b).

Язык играет жизненно важную роль в действии идеологии и формировании идеологического сознания. Это подчеркивалось более 60 лет тому назад Михаилом Бахтиным в «Марксизме и философии языка», книге, которая была написана им именем Волошинова (Holquist, 1990). Бахтин утверждал, что «объективная психология должна опираться на науку об идеологиях» и что формы сознания создаются при помощи языка (Бахтин, 2000. С. 357). Поэтому социально-психологическое исследование идеологии предполагает исследование конкретных действий языка: «общественная психология — это и есть прежде всего та стихия многообразных *речевых выступлений*, которая со всех сторон омывает все формы и виды устойчивого идеологического творчества» (С. 362).

Схожие идеи высказывались недавно дискурсивными психологами, утверждавшими, что многие психологические явления, которые считались свойственными человеку, создаются социально и дискурсивно (Billig, 1987; 1991; Edwards and Potter, 1992; 1993; Potter and Wetherell, 1987; Potter et al., 1993). Некоторые исследователи (Gillett and Harré, 1994) обращают внимание на то, что эмоции, наподобие гнева, страха или счастья, связаны с суждениями и внешними социальными действиями. То же относится и к так называемым эмоциям национальной лояльности или ксенофобии (Scheff, 1995; Wetherell and Potter, 1992). Эти эмоции зависят от суждений, общих убеждений или представлений о нации, о «нас» и о «них».

Такие эмоции выражаются в сложных формах дискурса, которые сами являются частью более широких исторических процессов. Босуэлл в своей «Жизни Сэмюэля Джонсона» рассказывает, что великий врач имел обыкновение гулять по ночному Лондону вместе с Ричардом Савиджем, поэтом-бродягой и осужденным убийцей. Обычно компаньонов повергала в уныние сонная обстановка в пути. Но однажды ночью, проходя по площади Сент-Джеймс, странная пара пребывала «в приподнятом настроении и была исполнена патриотизма». Они ходили по площади в течение нескольких часов, «поносили министра и “решали, что бы сделали они, будь они у власти”» (Boswell, 1906. Vol. I. P. 95). Теперь уже не узнать, о чем они говорили тем вечером. Приподнятое настроение, в котором явно находились оба, отразилось на ходе беседы. Они спорили друг с другом, пока не пришли к патриотическому решению, осудив соответствующего государственного министра. Словами, жестами и интонацией они создавали настроение. Точно так же патриотический дух, которым они были «исполнены», заключался в заявлениях, решениях и суждениях. Джонсон, пересказывая историю Босуэллу, мог назвать беседу «патриотической», а его биограф мог согласиться с таким описанием. Патриотизм не был чем-то странным, внеположным по отношению к самому

разговору, подобно темным фигурам, проходившим по прилегающим к площади улицам. Собеседники ощущали этот дух в себе. Несомненно, поэт и будущий лексикограф говорили банальности, что подтверждается их патриотическим решением.

Чтобы быть явно исполненным патриотизма, необходимо понимать его дискурс, то есть фразы и взгляды, которые обычно считаются «патриотическими». Джонсон и Савидж, возможно, использовали стереотипы и выражали свое личное отношение. «Я готов любить всех людей, кроме американцев», — заявлял Джонсон много лет спустя во время беседы в доме мистера Дилли. Неугомонная природа Джонсона, по словам Босуэлла, «рвалась наружу» (Vol. II. P. 209). Джонсон, конечно, выражал собственные взгляды и чувства. Но не только: он говорил на избитые темы своего времени: о добродетельности патриотизма, любви ко всему человечеству и пылкой ненависти к американцам. Все эти вопросы выходят далеко за рамки личности Джонсона; они связаны с идеологической историей наций и национализма. Он произносил свои патриотические речи тогда, когда происходило политическое становление британского национального государства и правительства, осуществлявшего правление от имени всего «народа», включая бродяг и преступников (Colley, 1992). Когда же Джонсон в своей любви к человечеству сделал исключение для американцев, колония была увлечена строительством собственного национального государства, которое не зависело от британского суверенитета. В другие эпохи и в других странах люди могли говорить о преданности и ненависти иначе. Но поведение Джонсона во время беседы — и его эмоции — принадлежали к идеологическому сознанию, свойственному эпохе становления современных наций. Эта идеология сопровождала его в ночной прогулке по Лондону; она проникла в дом мистера Дилли и сидела за его столом, приняв облик беседы, скачущей с темы на тему — от кулинарии до религии. Национализм заполнял банальные моменты английской жизни в XVIII веке.

### **Национализм и национальное государство**

Если отождествлять национализм с идеологией, которая создает и поддерживает национальные государства, то она занимает свое особое социально-историческое место. Не все групповые лояльности связаны с национализмом, но, как утверждал Эрнест Геллнер, национализм принадлежит эпохе национальных государств. Национализм не возможен без национальных государств; и, следовательно, будучи способом описания сообщества, национализм, с исторической точки зрения, представляет собой особую форму сознания. На первой же странице «Наций и национализма» Геллнер утверждает, что «национализм — это прежде всего политический принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единица должны совпадать» (Геллнер, 1991. С. 23). По Геллнеру, национализм возникает только тогда, когда существование государства «уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся» (Геллнер, 1991. С. 27); основной принцип национализма состоит в убеждении, что «национальное государство, отождествляемое с национальной культурой и оберегающее ее, представляет собой естественную политическую единицу»

(Gellner, 1993. P. 409). В геллнеровском определении национализм связывается с национальным государством, и политические принципы в этих обстоятельствах начинают казаться «естественными».

Среда национального государства — это, вообще говоря, современный мир, поскольку, как утверждает Хобсбаум, «важнейшая особенность современной нации и всего с нею связанного — это ее современность» (Хобсбаум, 1998. С. 25; перевод исправлен. — *Прим. перев.*). Историки спорили о времени возникновения национального государства в европейской истории. Одни, например, Хью Сетон-Уотсон (Seton-Watson, 1977) и Дуглас Джонсон (Johnson, 1993), утверждали, что подобные настроения и патриотическая лояльность появились в Англии и Франции уже в XVII веке. Другие ученые, например, Эли Кедури (Kedourie, 1966), называют более позднюю дату, утверждая, что национальных государств и националистических привязанностей до XVIII века не существовало. Элштайн даже говорит о том, что представление о *La France*, отчизне, «сложилось относительно недавно, в этом столетии» (Elshtain 1987. P. 66). Однако оба лагеря сходятся в том, что средневековая Европа не знала таких национальных государств. Энтони Гидденс попытался определить, какие новые формы правления были введены с созданием национального государства. Он определяет национальное государство как «совокупность институциональных форм управления, поддерживающих административную монополию над определенной территорией (границы), господство которых санкционировано законом и прямым контролем над средствами внутреннего и внешнего принуждения и насилия». Важнее всего, что государства существуют не в изоляции, а «в комплексе других национальных государств» (Giddens, 1987. P. 171).

Национализм охватывает образы мысли — образцы обыденного дискурса, — которые заставляют казаться естественной «нам», живущим в мире национальных государств, его ограниченность и монополизацию насилия. Этот мир — «наш» мир — представляет собой место, где нации содержат свои вооруженные силы, полицию и палачей; где границы строго очерчены; и где граждане, особенно мужского пола, могут быть призваны с тем, чтобы убивать и умирать, защищая национальные границы.

Беглый осмотр средневековых и современных карт обнаруживает новизну ограниченного государства. У европейских средневековых карт, помимо того, что они менее точны, что в центре у них, как правило, находится Иерусалим и что мир на них нанесен не полностью, а отдаленные страны теряются в неизвестности, есть еще одна особенность. Средневековые карты отображают мир, который не был одержим идеей границ (Roberts, 1985). При изображении обширных территорий королевств и империй отсутствовало стремление обозначить точное место, где заканчивалось одно королевство и начиналось другое. В этом отношении современная политическая карта серьезно от них отличается: на ней показан завершенный мир, разделенный четкими границами. Именно такая карта кажется «нам» привычной.

В средневековой Европе четких территориальных границ почти не существовало. Как отмечает Манн (Mann, 1988), средневековая Европа состояла из небольших пересекающихся сетей; ни один орган власти не управлял четко очерченной территорией или проживающими на ней людьми. Во всяком слу-

чае, территории меняли форму из поколения в поколение, поскольку монархи в эпоху раннего Средневековья часто делили свои владения между наследниками. Крестьяне могли испытывать чувство долга по отношению к местному сеньору, но к не далекому монарху. Даже если бы местный сеньор действительно проживал в этой местности, он почти наверняка не говорил бы на языке своих крестьян. При сборе войск короли полагались на крупных сеньоров, которые, в свою очередь, могли перепоручить выполнение этой задачи менее знатным. Существовала целая пирамидальная структура прав и обязанностей. Сбор войск происходил непрерывно, поскольку политика на всех уровнях, как правило, осуществлялась при помощи силы. В отличие от современных проявлений межгосударственной вражды официальное объявление и формальное завершение войны встречались тогда нечасто.

Во многих отношениях мир средневековой Европы кажется современному человеку невероятно беспорядочным, дезорганизованным. На всем протяжении Средневековья множество людей, проживавших на землях, известных ныне как Франция или Англия, не считали себя «французами» или «англичанами» (Бродель, 1994; Seton-Watson, 1977). Они слабо представляли себе территориальную нацию («страну»), которой они должны были быть преданы сильнее, чем самой жизни. Сообщество было воображаемым и жило иначе, чем сейчас. Отчасти именно поэтому средневековый мир кажется сегодня столь чужим. «Нам», признающим естественность «сознания границ», легко считать, что система национального государства внесла порядок и организацию в мир бессмысленного хаоса. Государство, независимо от того, кто его олицетворяет — монарх или президент, требует теперь непосредственной и полной лояльности от населения. Когда оно вступает в войну, правители государства не зависят от связей с феодальными баронами. Войска набираются напрямую из народа, который убеждают сражаться за свою «нацию». Случается, что набранные таким образом люди преследуют собственную выгоду или принуждаются к исполнению воинской повинности. Но в современном мире молодежь зачастую сама добровольно и даже охотно шла сражаться за дело нации (Reader, 1988).

С установлением монополии национального государства на право использования насилия в своих границах завершилась эпоха «неофициальных войн» (Hinsley, 1986). С этого времени «Британия» воевала против «Франции» во время наполеоновских войн, в «Россию» вторгались, а за всем этим пристально наблюдали «Соединенные Штаты Америки». В этом новом мире воюющих наций не было места герцогу Бургундскому или графу Йоркскому, которые вели в бой свои собственные отряды. Сегодня местные «полевые командиры», как правило, появляются там, где государственная власть терпит крах, например, в Бейруте или Сомали. Другие страны мира с ужасом наблюдают возникновение «неофициальных армий», опасаясь появления таких сил в собственных границах. Возникновение официальных войн, естественно, сопровождалось возникновением официального мира. На протяжении последних 200 лет окончание войн сопровождалось проведением конференций, на которых принимались решения о том, где именно должны были проходить государственные границы. Тон был задан Венским конгрессом после окончания наполеоновских войн. В «новом миро-

вом порядке», о необходимости установления которого после военного поражения Ирака говорил президент Буш, нет ничего нового. С момента рождения национальных государств сильные страны, которые доказали свою силу в войне, стремились навязать свое видение определенного устройства четко проведенных международных границ. В этом отношении современное национальное государство — продукт международной эпохи.

### **Международный мир наций**

В описании Гидденса система национальных государств «не имеет прецедентов в истории» (Giddens, 1987. P. 166). Вопрос о том, почему такой системе суждено было появиться в Европе, а затем распространиться на остальной мир, — одна из основных загадок современной истории. Исследователи говорят, что новая форма государства помогла решить ряд проблем в модернизирующемся мире. Геллнер (Gellner, 1987; Геллнер, 1991) утверждал, что индустриализация создала спрос на стандартизованные навыки, которые лучше всего могла обеспечить централизованная система образования. Таким образом, централизованное государство обладало экономическим преимуществом и способно было создать одинаковый уровень грамотности. Кеннеди (Kennedy, 1988) придает особое значение военным преимуществам национального государства. Оно могло набирать напрямую из своего населения профессиональные армии, которые желали сражаться с патриотическим пылом и не исчезали на время сбора урожая у своего феодального сеньора.

Другие авторы прямо связывали возникновение национальных государств с возникновением капитализма. Андерсон (Андерсон, 2001) говорит о том, что возникновение национального государства было обусловлено возникновением книгопечатания, заменой латыни народными языками и распространением дискурсивной грамотности, необходимыми для развития капитализма. Манн соглашается с этим (Mann, 1992), но подчеркивает роль торгового, а не промышленного капитализма в формировании государства: в XVIII веке империалистические завоевания, которые должны были профинансировать промышленные революции Западной Европы, требовали государственной поддержки для сохранения достигнутого. Нейрн (Nairn, 1977) указал на неравномерное распространение капитализма, отметив, что государство стало средством, при помощи которого периферийные области могли прийти к капиталистической современности. Хрох (Hroch, 1985), развивая эту мысль, утверждает, что капиталистическая экономика нуждалась в определенном центральном руководстве, особенно в отношении образовательной и торговой политики, которая была необходимым условием современного национального государства. И какими бы ни были причины возникновения национального государства, сомневаться в его успехе не приходится.

Нация, распространившаяся из Европы в Америку и далее, превратилась в общепризнанную форму суверенитета. Вся земная поверхность, за исключением Антарктиды, «теперь разделена между нациями и государствами» (Birch, 1989. P. 3). И если национализм — это идеология, которая поддерживает такие национальные государства как национальные государства, тогда он представляет собой «наиболее успешную идеологию в человеческой исто-

рии» (Birch, 1989. P. 3). В отличие от современных либерализма и марксизма, а также средневековых христианства или ислама, влияние которых было территориально ограничено, национализм выступает в качестве международной идеологии. Система национального государства не терпит территориальной пустоты; каждое пространство должно помещаться в официальные национальные границы. Таким образом, сознание границ в национализме не знало границ в своем историческом триумфе.

Национализм в своем торжественном марше смел все соперничающие идеологии. В начале XX века марксисты предсказывали конец национального разделения: неизбежный крах капитализма должен был возвестить о мире универсального классового сознания, объединении рабочих классов различных стран. На деле же марксистские революции приспособились к национальным границам. Одна из основных задач вождей Октябрьской революции 1917 года в России состояла в обеспечении безопасности границ социалистического государства. По соглашению с Германией и ее союзниками, заключенному в Брест-Литовске, часть территорий отходила Турции. Во время последующей борьбы за сохранение завоеваний революции от внешнего врага большевики в действительности расширили границы старой Российской империи, аннексировав Бухару и Хиву и установив контроль над Внешней Монголией (Seton-Watson, 1977). Таким образом, большевистский режим изначально был национальным государством среди национальных государств. Сначала Ленин, а потом Сталин играли роль национальных вождей, ставивших своей задачей построение «социализма в одной, отдельно взятой стране» и защиту нации от иностранных захватчиков. Но и это еще не все. Как отмечает Бенедикт Андерсон, в конце 1970-х годов марксистские режимы Вьетнама, Камбоджи и Китая вели друг с другом националистические войны, подтверждая тот факт, что «после Второй мировой войны каждая успешная революция самоопределялась в *национальных* категориях» (Андерсон, 2001. С. 27).

В системе национальных государств есть нечто явно странное. Национальные государства могут принимать любые формы и размеры. Они включают и Китайскую Народную Республику с населением более 100 миллионов человек, и Тувалу с 10 000 жителей. В отличие от города-государства эпохи Возрождения, идея национального государства не связана с представлениями об идеальном размере. На некоторых землях, например Северной Америки, число национальных границ невелико, и большинство из них, как правило, проходит по прямым линиям, озерам или рекам. В Европе же, напротив, имеется множество границ, которые пересекают или огибают горы, равнины и реки. Иногда группы островов образуют отдельные нации, например, Япония, но в Карибском бассейне каждый остров, по-видимому, гордится собственным государством (Гаити и Доминиканская Республика находятся на одном острове). Почему Лихтенштейн? Почему Науру? Почему Соединенные Штаты Америки, а не Соединенные Штаты Южной Америки? И не национальное государство Корсики или Гавайев?

Короче говоря, невозможно найти набор «объективных» географических принципов, которые после обработки компьютерной программой привели бы к созданию нынешних ревностно оберегаемых национальных границ. Напротив, мир наций разделен на множество причудливых по своей форме и

размерам государств, тесно и иногда неудобно соприкасающихся друг с другом. И в этом мире нет никакой общей логики языка или религии. Государства бывают одно- и многоязычными. Встречаются сравнительно однородные в культурном и языковом отношении государства, например Исландия, и государства с множеством религий и языков, например Индия. Иногда в националистической борьбе принимают участие различные религиозные группы, например, в Северной Ирландии, а иногда те же группы в ней не участвуют, например в Шотландии. Иногда язык служит символом националистических чаяний, как в Квебеке, а иногда нет: языковые меньшинства в скандинавских странах редко выказывают националистические настроения (Elklit and Tonsgaard, 1992). Равновесие между религией и языком может меняться. Когда в 1830 году было создано бельгийское государство, религиозная близость казалась более сильной, нежели языковые различия, но теперь, по всей видимости, положение полностью изменилось (Vos, 1993). В Швейцарии чувство принадлежности к швейцарской нации тесно связано с государством, которое не испытывает угрозы распада по линиям языкового разделения. Так называемый «юрский вопрос» связан только с проблемой отделения от бернского кантона с целью создания в Швейцарии нового кантона (Voutat, 1992).

И какая компьютерная программа — не говоря уже о теории объективного исторического развития — могла бы предсказать, что обширные испаноязычные католические территории Центральной и Южной Америки будут разделены национальными границами? Почему Венесуэла, Коста-Рика и Боливия гордятся своей независимостью, создают собственные армии и патрулируют собственные границы? Система национальных государств, по-видимому, не отвечает идеальным образцам глобального разграничения. При создании национального государства как логической формы управления современной эпохи могли сочетаться различные исторические силы. Тем не менее своевольная анархия, по-видимому, сопутствует практическому осуществлению логического принципа.

### **Создание государств и народов**

Если место прохождения государственных границ не определяется так называемыми «объективными» переменными наподобие языка, религии или географии, то можно предположить, что решающее значение имеют «субъективные» или психологические переменные. Нации — это не «объективные сообщества» в том смысле, что они построены вокруг ясных «объективных» признаков, которыми действительно обладают или считаются обладающими все представители нации: напротив, они представляют собой, если воспользоваться термином Бенедикта Андерсона, «воображаемые сообщества». Поскольку возможности воображения сообществ бесконечны, можно ожидать, что политическая карта мира будет несколько беспорядочной, так как границы между государствами соответствуют границам субъективной идентичности. Как будет показано в дальнейшем, в этом «субъективном» понимании нации содержится зерно истины. Тем не менее это упрощение. Психологическая идентичность сама по себе не является той движущей силой истории, которая привела к возникновению сегодняшних национальных государств. Национальные идентичности —

это формы социальной жизни, а не внутренние психологические состояния; они также представляют собой идеологические творения, созданные в ходе становления нации.

Термин «нация» имеет два взаимосвязанных значения: «нация» как национальное государство и «нация» как народ, живущий в этом государстве. Соединение этих двух значений отражает общую идеологию национализма. Как утверждает Геллнер, национализм основывается на принципе, который «получил широкое признание и зачастую считается в современном мире чем-то само собой разумеющимся» (Gellner, 1993. P. 409). Этот принцип заключается в том, что каждый народ должен иметь свое национальное государство. Очевидно, что этот принцип предполагает существование такой реальности, как национальные народы. В этом отношении национализм связан с возникновением чувства национальной идентичности у тех, кто проживает или заслуживает того, чтобы проживать, в своем национальном государстве. Однако национализм связан не только с созданием особой идентичности (особого национального «мы»), ибо он включает в себя общий принцип: справедливо, что «мы» имеем «свое» государство, потому что народы (нации) должны иметь свои государства (нации). В этом смысле национализм сочетает общее и особенное.

Такое сочетание проявилось в том, каким образом победившие в Великой французской революции силы объявили о своей победе. Они заявили, что их победа была победой всеобщих принципов — таких как «свобода, равенство и братство», — которые теоретически относились ко всем, кроме женщин, см.: (Capitan, 1988). Они также провозгласили ее окончательной победой разума над предрассудками, просвещения над невежеством, народа над деспотизмом. Тем не менее в момент триумфа «народ» не был ни абстрактным понятием, ни всеобщей возможностью. Всеобщие великие принципы ограничивались отдельным народом, расположенным в определенном пространстве (Dumont, 1992; Freeman, 1992). В «Декларации прав человека и гражданина» утверждалось, что «источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации» (Французская Республика, 1989. С. 27). Этой нацией, конечно, была французская нация.

Между государством, народом и территорией устанавливалась некая незримая неразрывная связь. Утверждая, что суверенитет связан с нацией, революционеры говорили об этом так, словно идея «нации» не составляла никакой проблемы. Читая эти строки сегодня, легко предположить, что термин «нация» имел ясное и конкретное значение. Однако во время Великой французской революции символы нации, которые сегодня считаются чем-то самоочевидным, еще не установились. При *ancien régime* общенационального флага не существовало; были только региональные флаги (Johnson, 1993). Язык, на котором была написана Декларация, был основным языком лишь для меньшинства населения. Хотя к северу от Луары, за исключением Бретани и Фландрии, большинство жителей было в состоянии его понять, на юге его не понимал почти никто (Бродель, 1994). Во время опубликования Декларации лишь малая доля жителей территории, ныне называемой Францией, считала себя «французами».

В действительности «нация» не была конкретной сущностью, существование которой признавалось всеми гражданами самоочевидным. Она была замыслом, который следовало осуществить. Поскольку этот замысел осуществлялся от своего собственного имени (политика должна была оправдываться именем «нации»), то нация прежде всего должна была признать собственную реальность. В результате этих размышлений встает вопрос: «что возникает сначала – нация как народ или нация как государство?» Это стало предметом серьезных споров между теми, кто утверждал, что именно национальные государства создали национальные идентичности, и теми, кто возводил происхождение идентичностей к временам, предшествовавшим возникновению национального государства. Сторонники первой точки зрения утверждали, что изобретение национальных идентичностей происходило по мере формирования национальных государств. Иногда основатели государства прекрасно осознавали, что делали. После Рисорджименто итальянский националист XIX века Массимо д'Азельо заявил: «Италию мы уже создали, теперь нам предстоит создать итальянцев» (цит. по: Хобсбаум, 1998. С. 72). Для создания «итальянцев» необходимо было выдать это создание за возрождение, продолжение чего-то издавна существующего. Во время расцвета создания наций в XVIII-XIX веках, по-видимому, и были изобретены многие древние традиции. Новые артефакты, например, шотландские клетчатые юбки или церемонии коронации, были созданы заново, но выдавались за древние традиции. Порой подделывались и «древние» эпические поэмы, превозносившие нацию (Cannadine, 1983; Trevor-Roper, 1983).

Через изобретение традиций создавались национальные идентичности, которые были будто бы «естественными», даже извечными особенностями человеческого существования. Как утверждает Геллнер, национализм преподносится в качестве «подтверждения существования “наций” и считается, что эти сомнительные сущности существуют, подобно горе Эверест, с давних времен, предшествующих эпохе национализма» (Gellner, 1983. P. 49). Викториа́нский журналист Уолтер Бейгхот в своей книге «Физика и политика» говорил о том, что нации «так же стары, как сама история». Он утверждал, что отдельные, «хорошо знакомые нам» нации существовали на всем протяжении истории (Bagehot, 1873. P. 83). Соотечественники Бейгхота могли охотно верить, что англичане существовали всегда – вереница бородатых Альфредов и Артуров, уходящая в глубь веков и несущая свои мечи и английскую любовь к игре, подобно доктору Грейсу с его крикетной битой. Действительно ли эти Альфреды и Артуры питали такое чувство «английскости» (не говоря уже о «британскости»), которое находит в себе Бейгхот, – вопрос весьма спорный: то же относится к героям и героиням «французской» истории, которые заново открывались по ту сторону Ла-Манша.

Еще сложнее вопрос с некоторыми бывшими колониями. Никаким чувством единства нации невозможно объяснить, почему Соединенные Штаты Америки возникли к северу, а не к югу от Мексики. Тринадцать колоний, свергших под руководством Джорджа Вашингтона колониальное правление, создали единую нацию, а пять колоний, освобожденных Симоном Боливаром от Испании, пошли своими собственными национальными путями.

В обоих случаях чувство единства нации создавалось после провозглашения независимости, шла ли речь о чувстве «американскости» («одна нация под Богом») или о национальных чувствах боливийцев, перуанцев, венесуэльцев, эквадорцев и колумбийцев.

С другой стороны, как неоднократно утверждал Энтони Смит (Smith, 1981; 1986; 1994), не все нации-народы создавались *de novo*. Некоторые идентичности, должно быть, существовали и раньше, и широкое чувство общности не было полностью изобретено в XVIII веке. «Этнические общности» или народы, притязавшие на осознание своей собственной самобытной истории, культуры и лояльности, встречаются в большинстве эпох. Зачастую национальные государства создавались на основе более древней лояльности. «Древняя» шотландская клетчатая юбка, возможно, была современным изобретением, как и коронационная кружка, но и кружка, и клетчатая юбка отсылали к намного более древним традициям шотландской клановой системы и английской коронационной присяги. Они не были полностью изобретены, по крайней мере в эпоху создания государства. Народы, на представительство которых притязали национальные государства, часто питали чувство общности народа задолго до эпохи наций, даже если оно не совпадало с тем чувством общности народа, на которое притязало государство. Декларация прав человека и гражданина не изобрела «французскую» идентичность, как не изобрела она и «франкскую» или «галльскую» идентичность. И новая французская нация, создавая свое чувство француженности, адаптировала и изобретала намного более древние традиции, стереотипы и мифы. Точно так же Массимо д'Азельо не изобрел термин «Италия». Если нация служила внешней политической формой для государств, то эта форма зачастую восходила в своих истоках к более старым народным чувствам.

Создание нации как народа дополняло существовавшие ранее идентичности. К тому же, создание национальных государств редко происходило мирным путем, когда традиционная «этническая общность» распускалась из маленького бутона в пышный цветок нации, словно созревая «естественным» образом. Обычно этот процесс сопровождался борьбой и насилием. Необходимо было внедрение особой формы идентичности. На смену одному осмыслению самости, общности и, по сути, мира должны были прийти другие представления, другие формы жизни. Предстояло создать итальянцев: люди должны были перестать считать себя просто жителями Ломбардии или Сицилии, или той или иной деревни. И если из тех, кто проживал во Франции во время Великой французской революции, только меньшинство считало себя французами, то возобладать должны были именно представления этого меньшинства. Париж должен был метонимически и буквально говорить за всю Францию. Парижский диалект должен был стать «французским языком» в юридическом и культурном отношении. Битва за нацию — это битва за гегемонию, которая позволяет части говорить за всю нацию и олицетворять национальную сущность. Иногда имя части метонимически начинает обозначать национальное целое. Например, в Таиланде и Бирме национальная идентичность связана с ценностями и культурой господствующей группы, тайцев и бирманцев соответственно (Brown, 1989). Некоторые нации на-

столько однородны, что в них нет подгрупп, подпадающих под смитовское определение «этнической общности», то есть группы, которая сохраняет чувство своей исторической самобытности и истоков. По оценке Коннора (Connor, 1993), только 15 из 180 сегодняшних наций не являются в этом смысле «многонациональными». Здесь не учитываются давно забытые народности, заполонившие кладбища истории.

Достижение национальной гегемонии прекрасно иллюстрируется триумфом официальных национальных языков и подавлением соперников, которым часто сопровождалось создание государственности. Права человека и гражданина не распространялись на право бретонцев и окситанцев использовать свой собственный язык во французских школах: по закону, вместо окситанского надлежало использовать северофранцузский. В XIX веке был наложен официальный запрет на использование валлийского и шотландского языков в британских школах (Kiernan, 1993). Любопытный эпизод аргентинской национальной истории: правительство препятствовало использованию валлийского в Патагонии (Williams, 1991).

Иногда, при установлении гегемонии или — позднее — возникновении опасности ее утраты, такие ограничения языковых прав ослаблялись в интересах возрождения безвредного наследия или в целях удовлетворения требований сепаратистских или ирредентистских групп. Подавление языков меньшинств не ограничивается ранней историей национализма. В конце XX века такую политику продолжают проводить от имени народа правящие группы, стремящиеся упрочить свою связь с государственной властью. В турецкой Конституции 1982 года открыто говорится, что «никакой язык, запрещенный законом, не должен использоваться при выражении и распространении мыслей». После оккупации индонезийским правительством Восточного Тимора был наложен официальный запрет на преподавание тиморского языка в школах и объявлено о введении на острове «индонезийской цивилизации» (Pilger, 1994).

Ретроспективно возникновение системы национальных государств может показаться неизбежным, но вряд ли можно признать неизбежность возникновения отдельных наций. Политическая карта менялась после каждой крупной европейской войны: карта, созданная в соответствии с Берлинским договором 1878 года, отличается от карты, созданной по Версальскому договору 1919 года, и, конечно, обе они отличаются от сегодняшней политической карты. Одни национальные государства подобно Польше меняют свою форму, размер и местоположение. Другие, на Балканах, появляются и исчезают, иногда появляясь вновь, а иногда нет. Валлерстайн (Валлерстайн, 2004. С. 96) отмечает, что немногие сегодняшние государства могут похвастаться тем, что им удалось сохранить свою административную целостность и географическое положение с 1450 года.

Гипотетических возможностей море. Если бы силы на конкретных полях сражений развернулись иначе, существовали ли бы сегодня другие нации и другие национальные идентичности? Если бы силы конфедератов не потерпели поражение в Гражданской войне в Америке, смогла бы территория, которую в настоящее время занимают США, стать местом для двух независимых государств, каждое из которых воспитывало бы свою особую

культуру и исторические мифы? Можно рассмотреть и более широкую историческую перспективу. Сетон-Уотсон говорит о том, что поражение альбигойцев в 1213 году имело решающее значение. Если бы события повернулись иначе, то, когда несколько веков спустя дело дошло до создания государств, могла бы возникнуть мощная объединенная средиземноморская держава. Можно предположить, что лояльность к этому государству – возможно, названному бы Средиземноморьем, – была бы столь же страстной и «естественно старой», как и та, что проявляется по отношению к любому сложившемуся европейскому государству. Окситанский мог бы стать теперь одним из великих языков мира, а не пребывать в состоянии упадка (Touraine, 1985).

И если кажется, что от исхода сражений зависит слишком многое, то нужно вспомнить, что история национализма редко обходилась без насилия. Борьба за создание национального государства – это борьба за монополию на средства насилия. И само национальное государство создается при помощи насилия. Торжества отдельного национализма редко удается достигнуть, не одержав победы над альтернативными национализмами и другими способами воображения народа. Может сложиться впечатление, что Франция возникла на своей исторической территории с чувством французской идентичности, которое воспитывалось веками (Smith, 1994). Об этом говорит и Декларация прав человека и гражданина. Однако создание нации связано не только с историческим провалом возможных национализмов – потенциальных средиземноморцев, – но и с действительным поражением соперничающих народностей. Бретонцев и окситанцев нужно было заставить стать французами: все возможные национальные устремления необходимо было подавлять силой. И все это должно делаться от имени народа, нации (всей нации) или отечества/родины (всей страны). Это стало обычным явлением времени.

Однако и сегодня правители оправдывают свой суверенитет, выдавая его за выражение воли нации. Даже те, кто захватывает власть путем *coup d'état*, считают необходимым заявить миру, что их власть обладает национальной легитимностью. При этом используются привычные клише. Например, когда после поражения на выборах Эрнест Шонекан при помощи армии захватил власть в Нигерии, он заявил, что действовал в «более важных интересах отечества» (Guardian, 1 September 1993). Шонекан – это еще одна фигура, которая сама по себе не имеет большого исторического значения, но которая следует правилам современного протокола: политические лидеры должны говорить, что они действовали в интересах нации, называемой «народом», «родиной» или «отечеством». Средневековые монархи сочли бы такое упоминание о родительских землях чем-то удивительно мистическим. Ведь свой суверенитет они получали от Бога; владение монарха сверхъестественным, целительным прикосновением считалось подтверждением божественного призвания (Bloch, 1973). Современные же правители, напротив, для подтверждения своего призвания должны говорить о том, что прикосновение у них совершенно обычное. В современном государстве притязания на суверенитет опускались с небес на землю, из заоблачной выси на родную почву к коллективному телу ее обитателей.

## Нация и развитие языка

По мере своего распространения по миру идеология национализма формировала современные обыденные представления. И представления, которые кажутся нам столь банальными, оказываются идеологическими конструкциями национализма. Они представляют собой «изобретенные непреложности», которые исторически были созданы в современную эпоху и которые, тем не менее, переживаются так, словно они существовали всегда. В этом состоит одна из причин того, почему так трудно предложить объяснение национализма. Понятия, которые аналитик мог бы использовать для описания причинных факторов, сами могут быть историческими конструктами национализма.

Прекрасным примером служит идея языка. Как говорилось ранее, многие аналитики называли язык определяющей чертой национальной идентичности: те, кто говорит на одном языке, могут притязать на чувство национальной общности. Как уже говорилось в предыдущем разделе, установление национальной гегемонии зачастую связано с гегемонией языка. Несложно построить модель национализма вокруг важности общения на одном языке. Для этого язык сам должен перестать быть проблематичным понятием. Кажется очевидным, что существуют различные языки и что все говорящие должны говорить на понятном языке. Как в этом можно сомневаться? Бейгхот мог считать, что нации существовали всегда. Возможно, его ввела в заблуждение кажущаяся прочность изобретенных национальных непреложностей. Но, конечно, языки различны: они существовали всегда.

И все же здесь нужно быть осторожными. Люди умели говорить уже на заре истории, и в различных местах могли развиваться непонятные друг для друга говоры, но это не означает, что люди считали себя говорящими на «языке». Понятие «языка», по крайней мере, в том смысле, который кажется «нам» столь банально очевидным, само может быть изобретенной непреложностью, созданной в эпоху национального государства. Если дело обстоит именно так, то не столько язык создает национализм, сколько национализм создает язык; или, скорее, национализм создает «наше» обыденное представление о том, что существуют «естественные» и бесспорные вещи, называемые различными «языками», на которых мы говорим.

В средневековой Европе, в отличие от сегодняшнего мира, не было места официальным народным языкам. В общем и целом письменное общение осуществлялось на латыни. Грамматикой, которая преподавалась в качестве основного предмета тривиума, была латинская грамматика (Murphy, 1974). Народные языки, даже когда они использовались в письменном виде, не считались грамматически правильными, и их произношение не входило ни в один стандартизованный словарь. В этом контексте не существовало правильного или неправильного письма на народном языке; и большинстве случаев на нем просто не писали. Стремление к стандартизации письма, введению соответствующих грамматик и преподаванию принятых форм родного языка возникло значительно позже. Мишель Фуко (Фуко, 1996) сравнивал возникновение грамматики как академической дисциплины в XVIII веке с развитием медицины и экономики той же эпохи. Во всяком случае академическое

изучение происходило в контексте возникновения современного государства, которое навязывало единообразие и порядок своему населению и представляло собой, по выражению Фуко, «дисциплинарное общество» (Фуко, 1999. С. 290).

В Средневековье, согласно Дугласу Джонсону, «простому человеку в одной части Франции трудно было понять человека в другой ее части» (Johnson, 1993. P. 41). Такое положение сохранялось во Франции и в XIX веке (Бродель, 1994). Можно попытаться представить отношение средневековых крестьян к своим формам речи. Они одинаково говорили бы со своими односельчанами. Они узнавали бы эти формы — и, возможно, особые слова — при встрече с земляками, особенно вдали от дома. В документах Монтайю говорится о сапожнике Арно Сикре, в его мастерскую в Сан-Матео однажды вошла женщина, говорившая на «языке Монтайю» (Ладюри, 2001. С. 302). Он отложил инструменты, чтобы спросить, действительно ли она прибыла из Монтайю. Этот «язык» мог иметь свои отличительные особенности, но его понимали жители соседних областей, которые также имели свои узнаваемые говоры. Одни слова были известны посторонним, другие — нет. По мере удаления от родной деревни количество незнакомых фраз возрастало, как возрастала и сложность в общении. Попав в особенно удаленную деревню, общих фраз можно было не встретить вовсе.

В случае Монтайю в XIV веке, пишет Ладюри, между Окситанией и Каталонией существовало единое пространство общения. Во время путешествия по деревням, располагавшимся в этом едином пространстве, у крестьян не складывалось ощущения перехода языковой границы, которая отделяла один особый язык от другого. Только в отдаленных областях появлялись трудности с пониманием. Однако путешествующий крестьянин не переставал задаваться вопросом: «Говорят ли эти люди на том же языке, что и я?», словно все дело было в соотношении между знакомыми и незнакомыми формами речи, которое менялось от одной грамматической области к другой. Подобный эссенциализм, напротив, составляет суть современных обыденных представлений о языке. Нам хочется знать, следует ли считать говор Монтайю диалектом окситанского и действительно ли жители Сан-Матео говорили на разновидности каталанского. Мы признаем существование глубоко различных грамматик.

Если современная политическая карта, в отличие от своего средневекового аналога, содержит точные границы, то же относится и к воображаемой карте говоров. Представление об этом просто проецируется на другие культуры и другие эпохи. Как рассказывает Клиффорд (Clifford, 1992), антропологи обычно считают, что каждая деревня, каждое племя, которое они изучают, имеет свой уникальный язык. Современное представление различных языков — это не фантазия, но в нем находит свое отражение мысль о том, что мир наций является также миром формально установленных языков. Дисциплинарное общество национального государства нуждается в дисциплине общей грамматики. У средневекового крестьянина не было формальных средств, которые позволяли бы ему узнать у собеседника, на каком языке тот говорил. Никакие парламентские законы не устанавливали, какой язык должен был использоваться в обязательном государственном образова-

нии или государственном вещании; при этом в эпоху Средневековья никто и представить себе не мог, чтобы из-за этого велись войны. Вопросов языка, которые кажутся сегодня столь «естественными» и животрепещущими, тогда попросту не возникало. Грубо говоря, средневековый крестьянин говорил, а современный человек просто так говорить не может; чтобы говорить, нам нужен специальный инструмент – язык.

### **Языки и границы**

Мир различных языков требует установления категориальных различий. С этой проблемой сталкивается всякий, кто пытается провести различие между одним языком и другим. Не все носители языка говорят одинаково. Так, одни речевые различия следует считать примерами разных языков, а другие – различиями в одном языке. Понятие «диалекта» становится решающим в поддержании идеи отдельных языков: по-видимому, оно позволяет объяснить, почему не все носители языка говорят одинаково. Слово «диалект» не имело своего лингвистического значения до начала современной эпохи (Haugen, 1966a). Раньше языковые проблемы, обозначаемые и, по-видимому, решаемые при помощи этого понятия, не возникали. Жителей Монтайю в XIV веке не заботил вопрос о том, было ли то, на чем они говорили, диалектом или отдельным языком: сапожника интересовало то, родился ли он в одной местности с той женщиной, а не то, говорил ли он с ней на «одном языке». Идея диалекта почти не использовалась до установления национальными государствами официальных образцов речи и письма. Различия между языками и диалектами превратились тогда в очень острые политические вопросы и стали предметом науки лингвистики.

Существование различных языков кажется нам очевидным, но вовсе не очевидно, каким образом создаются такие различия. Предположим, что носители одного языка понимают друг друга, а носители разных языков – нет. Это означало бы, что все варианты (или диалекты) одного языка понятны друг другу, а различные языки друг другу непонятны. Лингвисты подчеркивают, что не существует простого критерия для определения понятности. Какой объем понимания следует считать понятностью? Где в пространстве понятности проходит граница между пониманием и непониманием? Даже если бы такой критерий существовал, он привел бы к совершенно иным разграничениям, нежели те, что признаются носителями и неносителями языка и кажутся им столь незыблемыми (Comrie, 1990; Ruhlen, 1987). Встречаются понятные друг другу «разные» языки, например, датский, норвежский и шведский. Как отмечает Эриксен (Eriksen, 1993), разговорный язык норвежских городов, к примеру, Бергена и Осло ближе к стандартному датскому, чем к некоторым сельским диалектам норвежского. Наряду с проблемой понятных друг другу разных языков существует проблема языков, которые содержат непонятные друг другу диалекты. Так, носители гегского и тоскского диалектов считают, что говорят на одном албанском языке, хотя эти диалекты непонятны друг другу (Ruhlen, 1987).

Чрезвычайно важна и проблема проведения языковых границ. Борьба за гегемонию, которой сопровождается создание государств, отражается в способности выделения языков или в том, что Томпсон назвал способностью к

«закреплению значения» (Thompson, 1984. P. 132). Эта способность состоит не просто в навязывании определенных слов или фраз, но и в притязании языков на то, чтобы быть языками. Средний класс столичных областей обычно закрепляет значения официального языка, сводя остальные образцы в национальных границах к «диалектам» – термин, который почти всегда содержит уничижительный оттенок. Как говорит Хауген (Haugen, 1966a), «диалектом» часто бывает язык, которому не удалось добиться политического успеха: например, пьемонтский был сведен к статусу диалекта после того, как итальянским языком стал считаться тосканский.

В попытках создания отдельной нации националисты часто создают особый язык, хотя они могут утверждать, что создали нацию на основе языка, как если бы последний был чем-то древним и «естественным». Когда Гердер называл немецкий язык отражением духа немецкой нации, он отстаивал необходимость создания и языка, и нации и при этом считал их извечными. На территории, которой предстояло стать Германией, существовало несколько непонятных друг другу наречий, ни одно из которых не смогло закрепить за собой статус «правильной» формы немецкого языка. Тогда жители Пруссии говорили на нижненемецком и «изучали верхненемецкий как второй язык» (Hawkins, 1990, p. 105). В следующем столетии, со взлетом Пруссии, «стандартным» немецким стал северогерманский выговор южного верхненемецкого.

Проведение границ между языками и классификация диалектов все чаще осуществлялись в соответствии с политикой создания государств. При сложившихся национальных границах речевые различия по обе стороны границы, вероятнее всего, будут считаться связанными с различными языками самими их носителями, национальными центрами и миром в целом. Когда голландцы избрали собственный путь политического развития, их разновидность нижнефранконского стала отдельным языком, в отличие от других форм, считающихся диалектами немецкого (Schmidt, 1993). Галисийский, на котором говорят в Испании, и португальский, на котором говорят по ту сторону границы, считаются различными языками. С лингвистической точки зрения, французский и итальянский сливаются друг с другом, но речевые различия во Франции, скорее, считаются диалектами французского, а в Италии – диалектами итальянского (Ruhlen, 1987). Точно так же фриульский в Северной Италии имеет сходство с романшским языком в Швейцарии, но национальные границы, опять-таки, усиливают ощущение различия между языками (White, 1991). В этом отношении показателен пример создания норвежского языка. Освобождение от датского владычества сопровождалось борьбой за язык. Сначала норвежское государство провозгласило собственный язык, письменно закрепив отличие норвежского говора от датского. Затем развернулась борьба между двумя соперничающими говорами, риксмоллом и лансмоллом, претендовавшими на звание настоящего норвежского языка (Haugen, 1966b).

Во всех этих случаях профессиональные лингвисты склонны соглашаться со сложившейся практикой, считая норвежский и датский различными языками, а верхне- и нижненемецкий разновидностями одного и того же языка (Comrie, 1990). По признанию Рулена (Ruhlen, 1987), отсутствие чисто лингвистических критериев для классификации языков заставляет лингвистов

следовать общепринятым представлениям о сходстве и различии между языками. Общепринятые практики наименования языков, как правило, возникают в ходе борьбы за гегемонию. И то, что становится общепринятой практикой, при определенных обстоятельствах может перестать быть ею или превратиться в предмет борьбы. Например, итальянский закон проводит различие между диалектами итальянского и развитыми языками меньшинств. Фриульские и сардинские активисты в течение многих лет вели борьбу за законодательное признание своих наречий в качестве официальных языков. Центральные правительства, напуганные сепаратизмом и опасностью уступок языкам меньшинств, сопротивлялись этим требованиям. В спорах о том, были ли фриульский и сардинский диалектами или языками, с обеих сторон участвовали опытные лингвисты, опровергавшие доводы оппонентов относительно того, что представляет собой полноценный язык, а что является простым диалектом (Petrosino, 1992). Наиболее показательным официальное отрицание турецким правительством существования курдов и курдского языка: на самом деле курды — это «горные турки», забывшие свой родной, турецкий язык (Entessar, 1989).

Можно предположить, что националистические движения, стремящиеся к созданию отдельных государств, попытаются превратить свой диалект в язык. Влияние записи говора не следует недооценивать: она служит материальным подтверждением притязаний на то, что отдельный язык существует. Чтобы подчеркнуть отличие от основного «официального» языка, может быть принята особая орфография, а в ней главное место может отводиться особому говору. И такая орфография, закрепленная в официальных сообщениях и мифической поэзии, становится подтверждением самобытности языка. Иногда у понятных друг другу говоров бывает различная орфография, как в случае сербского и хорватского, а также урду и хинди. Однако статус письма может оспариваться или официально объявляться диалектом. В 1994 году, впервые после запрета шотландским законом об образовании от 1872 года использования шотландского языка в школах в Университете Глазго прошла защита диссертации, написанной на шотландском языке; ее темой была «шотландская орфография». Примечательно, что ученый совет университета согласился допустить диссертацию к защите при условии, что она будет считаться написанной на диалекте английского, а не на отдельном языке (Guardian, 8 July 1994).

Из-за необходимости выбора одного говора описание «диалекта» представляет собой непростую проблему. Бродель рассказывает о проблемах, с которыми сталкивались те, кто желали перевести официальные французские документы послереволюционного государства на местные наречия, когда каждая деревня, по-видимому, имела свой говор. Директор департамента Коррез говорил о трудности нахождения приемлемых переводов: «Переводчик из кантона Жюйяк не понимает разговоров, ведущихся в других кантонах, ибо стоит проехать семь-восемь лье, и язык, на котором говорят местные жители, изменяется самым явственным образом» (цит. по: Бродель, 1994. С. 71). Другой чиновник в Бордо предложил перевести Декларацию прав человека и гражданина «на общий язык, который представлял бы собою нечто среднее между говорами всех местных жителей» (С. 71). Можно

только гадать, что произошло бы, если бы власти согласились с идеей такого компромиссного языка, который не отражал говора ни одного из жителей. Если бы этот язык преподавался в школах и использовался более поздними поэтами для прославления истории этих земель, сепаратистские группы могли бы сегодня претендовать на официальное признание. В университете Бордо можно было бы встретить докторские диссертации, написанные на этом якобы древнем языке.

Установление отдельного языка связано с внутренней борьбой за гегемонию, поскольку один говор стремится стать эталоном для всего языка. Если бы курдскому движению в Турции удалось отстоять официальный курдский язык, его пришлось бы выбирать из различных говоров участников этого движения. В 1930–1940-х годах перед сардинским националистическим движением проблема языка не стояла. Попытка выступить за обособление сардинского языка и превратить его в символ сардинской независимости вызвала бы противостояние. Сардинский язык имел множество различных форм: само словосочетание «сардинский язык» предполагает наличие некоего единого образа. Один из сардинских говоров должен был стать официальным языком, а остальные – превратиться в простые диалекты или бедных родственников «столичного сардинского». Чтобы не оттолкнуть носителей всего многообразия сардинского наречия, лидеры довоенного националистического движения не придавали особого значения языку (White, 1991).

Интересен случай сепаратистской Ломбардской лиги. В начале 1980-х годов Лига объявила ломбардский самостоятельным языком (Ruzza, 1993). Активисты закрашивали последние гласные буквы на уличных указателях Ломбардии. В ответ противники высмеивали мысль о том, что ломбардский был настоящим языком. Бессмысленно было искать ответ на этот вопрос в учебниках лингвистики, так как в одних ломбардский признавался отдельным языком (Grimes, 1988), а в других – нет (Vincent, 1987). Если бы в начале 1980-х годов программа Лиги была осуществлена и Ломбардия отделилась от Италии, установив собственные государственные границы, можно было бы не сомневаться, что ломбардский стал бы считаться особым, отличным от итальянского языком, как и в случае с норвежским, датским и шведским. Через какое-то время в учебники лингвистики пришли бы к согласию в этом вопросе. Однако в конце 1980-х годов Лига оставила вопрос о языке и была переименована из Ломбардской лиги в Лигу Норд (Ruzza, 1993). Вопрос о языке оттолкнул многих потенциальных сторонников, считавших себя ломбардцами, но не говоривших на этом языке. Кроме того, необходимо было бы создать «правильную» форму ломбардского, и немногие сторонники этой идеи согласились бы признать, что их область в Ломбардии говорила по-ломбардски неправильно.

Конфликты по поводу языка – привычное дело в современном мире. Они отвечают «нашим» обыденным представлениям: статьи о франко- и фламандскоязычном населении в Бельгии или урду- и хиндиязычном населении в Индии ни у кого не вызывают удивления. Такие конфликты не просто связаны с борьбой за язык, они и ведутся при помощи языка (и при помощи насилия). В этом отношении решающее значение имеют всеобщие или международные аспекты национализма. Если бы не существовало общих понятий,

которые можно перевести на отдельные языки и диалекты, конфликты не принимали бы свои националистические формы. Особенно важными из этих понятий оказываются идеи «языка» и «диалекта». Эти термины должны воспроизводиться в каждом языке, используемом его носителями для того, чтобы заявить о своих притязаниях на особый язык и существование отдельной нации. При этом внутриязыковые различия связываются с особенностями «диалекта».

Понятия языка и диалекта не являются исключительной собственностью «экстремистов», преследующих узко национальные задачи. Они неразрывно связаны с «нашими» обыденными представлениями. И это влечет за собой методологические и политические последствия. Нации могут быть «воображаемыми сообществами», но воображаемые формы невозможно объяснить с точки зрения языковых различий, ибо и сами языки воображаются в качестве особых сущностей. Для изучения национализма как широкой идеологии и обнаружения националистических положений в обыденных представлениях о языке не следует проецировать на других национализм и считать, будто «мы» свободны от всех форм его воздействия.

Кроме того, положения, верования и общие представления, которые выдают мир наций за наш естественный мир, создаются в ходе исторического развития: они не являются «естественными» общечеловеческими представлениями. В другие эпохи люди даже не задумывались о языке и диалекте, территории и суверенитете, то есть о тех вещах, которые стали сегодня частью обыденной жизни и кажутся «нам» столь существенными. Такие представления так глубоко укоренились в повседневности, что легко забыть, что они представляют собой изобретенные непреложности. Средневековые сапожники в мастерских Монтайю или Сан-Матео теперь — с дистанции в 700 лет — могут показаться нам недалекими, суеверными фигурами. Однако они сочли бы наши представления о языке и нации удивительно мистическими и недоумевали бы оттого, что такая мистика могла стать вопросом жизни и смерти.

*Перевод с английского Артема Смирнова*

### **Использованная литература**

- Bagehot W. *Physics and Politics*. London: Henry S. King, 1873.
- Billig M. *Arguing and Thinking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Billig M. *Ideology and Opinions: Studies in Rhetorical Psychology*. London: Sage, 1991.
- Birch A.H. *Nationalism and National Integration*. London: Unwin Hyman, 1989.
- Bloch M. *The Royal Touch*. London: Routledge and Kegan Paul, 1973.
- Boswell J. *The Life of Samuel Johnson*. London: J.M. Dent, 1906.
- Brown D. *Ethnic revival: perspectives on state and society* // *Third World Quarterly*. 11. 1989. P. 1–18.
- Cannadine D. *The context, performance and meaning of ritual: the British monarchy and «the invention of tradition»* // *The Invention of Tradition* / Ed. by E.J. Hobsbawm and T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Capitan C. *Status of women in French revolutionary/liberal ideology* // *The Nature of the Right* / Ed. by G. Seidel. Amsterdam: John Benjamins, 1988.

- Clifford J. Travelling cultures. // Cultural Studies / L. Grossberg, C. Nelson and P. Treichler. London: Routledge, 1992.
- Colley L. Britons. New Haven, CT: Yale University Press, 1992.
- Comrie B. The Major Languages of Western Europe. London: Routledge, 1990.
- Connor W. A nation is a nation, is a state, is an ethnic group, is a... // Ethnic and Racial Studies. 1. 1978. P. 377–400.
- Connor W. Beyond reason: the nature of the ethno-national bond // Ethnic and Racial Studies. 16. 1993. P. 373–389.
- Dumont L. Left versus right in French political ideology: a comparative approach // *Transition to Modernity* / Ed. by J.A. Hall and I C. Jarvie. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Eagleton T. Ideology: an Introduction. London: Verso, 1991.
- Edwards J. Language, Society and Identity. Oxford: Basil Blackwell, 1985.
- Edwards J. Gaelic in Nova Scotia // Linguistic Minorities, Society and Territory / Ed. by C.H. Williams. Clevedon: Multilingual Matters, 1991.
- Edwards D. and Potter J. Discursive Psychology. London: Sage, 1992.
- Edwards D and Potter J. Language and causation: a discursive action model of description and attribution // Psychological Review. 100. 1993. P. 23–41.
- Elklit J. and Tonsgaard O. The absence of nationalist movements: the case of the Nordic area // The Social Origins of Nationalist Movements / Ed. by J. Coakley. London: Sage, 1992.
- Entessar N. The Kurdish mosaic of discord // Third World Quarterly. 11. 1989. P. 83–100.
- Eriksen T.H. Ethnicity and Nationalism. London: Pluto Press, 1993.
- Fishman J.A. Language and Nationalism. Rowley, MA: Newbury House, 1972.
- Freeman M. Nationalism: For and Against. Colchester: Department of Government, University of Essex, 1992.
- Gellner E. Culture, Identity and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Gellner E. Nationalism // Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Thought / Ed. by W. Outhwaite and T. Bottomore. Oxford: Basil Blackwell, 1993.
- Gergen K.J. Towards Transformation in Social Knowledge. New York: Springer Verlag, 1982.
- Gergen K.J. The social constructionist movement in modern psychology // American Psychologist. 40. 1985. P. 266–275.
- Gergen K.J. Social psychology and the wrong revolution // European Journal of Social Psychology. 19. 1989. P. 463–484.
- Giddens A. Social Theory and Modern Sociology. Cambridge: Polity Press, 1987.
- Gillett G. and Harré R. The Discursive Mind. London: Sage, 1994.
- Grimes B.F. Ethnologue: Languages of the World. Dallas: Summer Institute of Linguistics, 1988.
- Gudykunst W.B. and Ting-Toomey S. Ethnic identity, language and communication breakdowns // Handbook of Language and Social Psychology / Ed. by H. Gdes and W.P. Robinson. Chichester: John Wiley, 1990.
- Haugen E. Dialect, language, nation // American Anthropologist. 68. 1966a. P. 922–935.
- Haugen E. Language Conflict and Language Planning. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966b.
- Hawkins J.A. German. // The Major Languages of Western Europe / Ed. by B. Comrie. London: Routledge, 1990.

- Hinsley F.H. *Sovereignty*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Holquist M. *Dialogism. Bakhtin and his World*. London: Routledge, 1990.
- Hroch M. *Social Preconditions of National Revival in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Husbands C.T. *Belgium: Flemish legions on the march // The Extreme Right in Europe and the USA* / Ed. by P. Hamsworth. London: Pinter, 1992.
- Johnson D. *The making of the French nation // The National Question in Europe in Historical Context* / Ed. by M. Teich and R. Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Kedourie E. *Nationalism*. London: Hutchinson, 1966.
- Kennedy P. *The Rise and Fall of the Great Powers*. London: Unwin Hyman, 1988.
- Kiernan V. *The British Isles: Celt and Saxon // The National Question in Europe in Historical Context* / Ed. by M. Teich and R. Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Mann M. *European development: approaching a historical explanation // Europe and the Rise of Capitalism* / Ed. by J. Baechler et al. Oxford: Basil Blackwell, 1988.
- Mann M. *The emergence of modern European nationalism // Transition to Modernity* / Ed. by J.A. Hall and I.C. Jarvie. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Moscovici S. *The phenomenon of social representations // Social Representations* / Ed. by R. Farr and S. Moscovici. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Murphy J.J. *Rhetoric in the Middle Ages*. Berkeley, CA: University of California Press, 1974.
- Nairn T. *The Break-Up of Britain*. London: New Left Books, 1977.
- Petrosino D. *National and regional movements in Italy: the case of Sardinia // The Social Origins of Nationalist Movements* / Ed. by J. Coakley. London: Sage, 1992.
- Pilger J. *Distant Voices*. London: Vintage, 1994.
- Potter J. and Wetherell M. *Discourse and Social Psychology*. London: Sage, 1987.
- Potter J., Edwards D. and Wetherell M. *A model of discourse in action // American Behavioral Scientist*. 36. 1993. P. 383–401.
- Reader W.J. *At Duty's Call: a Study in Obsolete Patriotism*. Manchester: Manchester University Press, 1988.
- Roberts J.M. *The Triumph of the West*. London: British Broadcasting Corporation, 1985.
- Ruhlen A. *A Guide to the World's Languages. Vol. I: Classification*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1987.
- Ruzza C.E. *Collective identity formation and community integration in the Lega Lombarda*. 1993. Доклад, прочитанный на конференции «Изменение европейских идентичностей», Фарнхэм, Суррей, апрель 1993 года.
- Sampson E.E. *Celebrating the Other*. Hemel Hempstead: Harvester/Wheatsheaf, 1993.
- Scheff T.J. *Bloody Revenge: Nationalism, War and Emotion*. Boulder, CO: Westview Press, 1995.
- Schmidt W. *The nation in German history // The National Question in Europe in Historical Context* / Ed. by M. Teich and R. Porter. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Seton-Watson H. *Nations and States*. Boulder, CO: Westview Press, 1977.
- Shotter J. *The Cultural Politics of Everyday Life*. Milton Keynes: Open University Press, 1993a.
- Shotter J. *Conversational Realities: Studies in Social Constructionism*. London: Sage, 1993b.

- Smith A.D. *The Ethnic Revival*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Smith A.D. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
- Smith A.D. The problem of national identity: ancient, mediaeval and modern // *Ethnic and Racial Studies*. 17. 1994. P. 374–399.
- Snyder L.L. *Varieties of Nationalism: a Comparative Study*. Hinsdale, IL: Dryden Press, 1976.
- Thompson J.B. *Studies in the Theory of Ideology*. Cambridge: Polity Press, 1984.
- Touraine A. *Sociological intervention and the internal dynamics of the Occitanist Movement // New Nationalisms of the Developed West / Ed. by E.A. Tiryakian and R. Rogowski*. Boston, MA: Allen & Unwin, 1985.
- Trevor-Roper H. *The invention of tradition: the Highland tradition of Scotland // The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm and T. Ranger*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Vincent N. *Italian // The World's Major Languages / Ed. by B. Comrie*. London: Routledge, 1987.
- Vos L. *Shifting nationalism: Belgians, Flemings and Walloons // The National Question in Europe in Historical Context / Ed. by M. Teich and R. Porter*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Voutat B. *Interpreting national conflict in Switzerland: the Jura question // The Social Origins of Nationalist Movements / Ed. by J. Coakley*. London: Sage, 1992.
- Wetherell M. and Potter J. *Mapping the Language of Racism*. Hemel Hempstead: Harvester/Wheatsheaf, 1992.
- White P. *Geographic aspects of minority language situations in Italy // Linguistic Minorities, Society and Territory / Ed. by C.H. Williams*. Clevedon: Multilingual Matters, 1991.
- Андерсон Б. *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*. М: КАНОН-пресс Ц, Кучково поле, 2001.
- Бахтин М. *Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи*. М.: Лабиринт, 2000.
- Бродель Ф. *Что такое Франция? Кн. 1. Пространство и история*. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1994.
- Валлерстайн И. *Конструирование народа: раса, нация, этническая группа» // Балибар Э. и Валлерстайн И. Раса, нация, класс*. М.: Логос, 2004.
- Геллнер Э. *Нации и национализм*. М.: Прогресс, 1991.
- Французская Республика: *Конституция и законодательные акты*. М.: Прогресс, 1989.
- Ладюри Э. *Ле Руа Монтайю, окситанская деревня (1294–1324)*. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001.
- Фуко М. *Археология знания*. Киев: Ника-Центр, 1996.
- Фуко М. *Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы*. М.: Ад Маргинем, 1999.
- Хобсбаум Э. *Нации и национализм после 1780 года*. СПб.: Алетейя, (1998).